

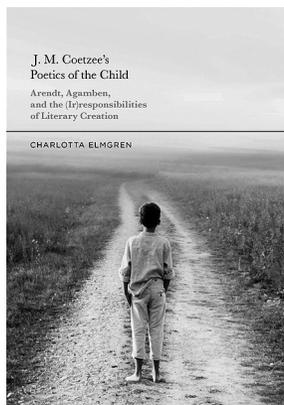
Библиография

Татьяна Венедиктова

Детский возраст на рубеже тысячелетий

Elmgren Ch. J.M. Coetzee's Poetics of the Child: Arendt, Agamben and the (Ir)Responsibilities of Literary Creation.

L.; N.Y.: Bloomsbury Academic, 2020. — X, 189 p.



В романе Джона Максвелла Кутзее «Элизабет Костелло» (2003) есть глава «У врат», в которой героиня — писательница, причудливое альтер эго автора — подвергается испытанию на входе в загробную жизнь: ее допрашивают об итогах земного существования и, в частности, о личных приверженностях (beliefs). Она заявляет, что приверженностей не имеет и что их отсутствие — часть профессионального кодекса. Дело писателя — быть «секретарем невидимого», то есть вслушиваться в разные голоса и честно, в меру сил подражать им всем, никого не предпочитая и не вынося суждений. «А что насчет детей?» — строго уточняет вопрошающий. «Насчет детей? — растерянно переспрашивает просительница. — Не понимаю»¹.

Но что же здесь непонятного? Подоплека вопроса в целом ясна. Разве детский зов не приоритетен сравнительно с любым другим? Разве детство не оселок, на котором проверяется этическое отношение к жизни? Мы храним в памяти множество максим на этот счет, включая знаменитый тезис о слезинке замученного ребенка, которая весомее мировой гармонии. Детство упаковано в плотную оболочку из общих мест, расхожих мифов и «теорий». По этому поводу в другом романе Кутзее рассказчик сдержанно иронизирует: «Теоретически я люблю детей. Дети — наше будущее. Хорошо, когда стариков окружают дети, их присутствие поднимает наш

1 Кутзее Дж.М. Элизабет Костелло / Пер. Г. Крылова. М.: Эксмо, 2019. С. 265–269, 275, 279.

дух. И так далее»². «И так далее» — что-то вроде безразмерного мешка, содержимое которого редко или никогда не подвергается ревизии. Но именно эту задачу перед собой ставит южноафриканский писатель, а вслед за ним — и Шарлотта Эльмгрен в посвященной его творчеству книге.

Эльмгрен интересуют тематика и поэтика детства. Этот смысловой пласт в прозе Кутзее она рассматривает на разных уровнях: от образа центрального персонажа — в первой части «Сцен провинциальной жизни» (1997) и в трилогии об Иисусе (2013—2019) — до эффектов интертекстуальной игры, которые вездесущи и отсылают к пестрому множеству источников: Библии и Достоевскому, Вордсворту и Кафке, Гёте и Набокову. Работа с текстовой формой в рамках предлагаемого подхода подразумевает обращение к философским проблемам субъектности, истины, природы языка и письма, воспитания и ответственности.

Детство — наиболее универсальный пласт человеческого опыта (любой из нас был ребенком), но одновременно и самым недоступный, поскольку неповторимый. Усилия взрослого написать о ребенке, как правило, происходят из желания получить тот или иной вид власти над навсегда ускользнувшим состоянием. Мы обращаемся к детству из разных точек жизненной траектории, пытаемся вернуться как бы в одно и то же, но всегда другое место. Это верно в отношении индивидуальной биографии — и так же верно в отношении истории культуры. В свое время Филипп Арьес предложил задуматься над «изобретением» детства на заре Нового времени. Нил Постман несколько позже задумался над проблемой «исчезновения детства»: в некотором смысле оно родилось вместе с печатным станком, проложившим границу между грамотным взрослым и ребенком; не исключено, что с распространением новых видов коммуникации эта граница исчезнет³. Дискуссия, в которой детство фигурирует как исторически изменчивый социокультурный конструкт, длится, таким образом, уже более полувека, и Эльмгрен вносит в нее свой вклад. Она аккуратно обследует сложно устроенное пространство, где встречаются и взаимодействуют философские концепции, идеологемы и метафоры, коллективный и личный опыт.

Детство Джона Кутзее прошло в этнически сегрегированной Южной Африке. Он рос в англоговорящей семье с фамилией, указывающей на африканерское происхождение и во многих ситуациях чувствовал себя привилегированным маргиналом. К тому же в школе господствовал строгий неокальвинизм, а домашнее воспитание вдохновлялось идеалами Штейнера и Монтессори. Трудносовместимые представления о детстве и детскости будут потом оспаривать друг друга и в прозе писателя. Впрочем, как показывает Эльмгрен, основные линии этого спора развивались преемственно столетиями. В одной системе взглядов дитя — «недовзрослый», которого надлежит опекать, дисциплинировать и приучать к порядку; детство ассоциируется с неумением, неопытностью, неведением — тем или иным видом недостаточности, который изживается воспитанием. В другой системе, напротив, ребенок — «сверхвзрослый», отмеченный полнотой жизненных возможностей, высшим «ведением» и свободой, к которым следует относиться с тем большей бережностью, что с годами они и так неизбежно утрачиваются.

Начиная с романтизма тема детства прочно сплавлена с темой внутреннего субъекта: дитя поставлено в оппозицию миру, преданному утилитарным ценностям, механистической рациональности, железному детерминизму истории, социума, языка. В отношении романтического идеала Кутзее исполнен сочувствия и скепсиса одновременно. Он не склонен умиляться детской «невинностью»: это со-

2 Кутзее Дж.М. Дневник плохого года / Пер. Ю. Фокиной. М.: АСТ, 2011. С. 328.
3 См.: Postman N. The Disappearance of Childhood. N.Y.: Random House, 1982.

стояние взрослые слишком охотно проецируют на детей, чтобы иметь возможность приписать себе достоинство зрелости. Важно помнить, однако, что и «зрелость», и «невинность» не самодостаточные сущности, а опять-таки конструкты. Высказываясь в интервью по поводу «наивной» ностальгии, которую испытывал по детским годам Набоков, Кутзее замечает:

И у меня тоже было детство, которое — в отдельных моментах — становится все более чарующим и чудесным, по мере того как я сам становлюсь старше. Наверное, именно так большинство из нас видит детство, — оглядываясь назад со всевозрастающим чувством удивления перед тем, что был когда-то этот мир невинности и сами мы пребывали в его центре. То, что мы влюбляемся в уже не существующих себя, — хорошо, от этого я ни за что не хочу отказаться. Дитя — отец взрослого мужчины, и мы не должны быть чрезмерно строги в отношении своих детских «я», их следует милосердно простить, хотя бы потому, что они сообщили нам направление и привели к себе нынешним. Но не должны мы и предаваться комфортному умилению собственным прошлым. Мы должны видеть то, чего не мог видеть ребенок, все еще взбудораженный путешествием из мест святых, все еще пребывающий в ореоле славы. Мы — или по крайней мере некоторые, даже немалое число из нас — должны смотреть на прошлое взглядом достаточно трезвым, осознавая природу и происхождение былой радости и былой невинности. Готовность прощать, но также неумолимая строгость — вот какое труднодостижимое сочетание я имею в виду. Неумолимая строгость — сначала и готовность простить — потом (цит. по с. 55—56).

В этих словах важно заметить усиленный акцент на долженствовании («мы должны») и цепочку аллюзий к оде Уильяма Вордсворта «Отголоски бессмертия», к романтическому мифу о детстве. У Вордсворта дитя изначально «озарено сияньем Божьим», приобщено к Абсолюту, но по мере взросления ясность утрачивается: «На Мальчике растущем тень тюрьмы // Сгущается с теченьем лет <...>; // Для Юноши лишь отблеск остается <...>; // Для Взрослого уже погас и он...» (пер. Г. Кружкова). В оригинале ребенка окружает не «ореол славы», а «облака славы» (clouds of glory); в интерпретации Кутзее/Эльмгрен этот образ коннотирует сладостную затуманенность детского зрения, которая мешает прозревать фиктивность фикций. Способность эта, впрочем, не приходит сама собой с годами, а вырабатывается лишь в меру осознания того факта, что все наши отношения с миром опосредованы воображением, а значит, подвижны, неопределенны, неоднозначны.

Только на этой зыбкой почве, считает Кутзее, и возможна «аутентичность» высказывания. В «Сценах провинциальной жизни» мальчик Джон рассказывает о себе байки, помня, что лгать нехорошо, но так же ясно понимая другое: приведя рассказ в полное соответствие с фактами жизни, он уже не был бы собой. А если бы он больше не был собой, какой смысл имела бы жизнь? Руководствуясь этой логикой, взрослый писатель рассказывает о собственном детстве в третьем лице, соединяя эффект строгой честности с эффектом сочиненности. Сложная природа правдоговорения обусловлена, по мысли Кутзее, «трагической двойственностью самосознания» человека (с. 42). Мы все хотим, но не можем предъявить миру собственную «подлинность» напрямую и именно по этой причине ценим возможность, которую нам открывает искусство: участвовать в создании смысла, в принципе несказуемого и незавершимого, — доверять другому искренне, при этом веря не до конца и не буквально.

Детство в изображении Кутзее не столько возраст, сколько особое состояние жизни, исполненное энергии, неизрасходованных и даже еще не определившихся возможностей. Уже поэтому оно далеко от идиллии, и поэтому же драматична оглядка на него из других возрастов/состояний. К ребенку мы не умеем относиться

иначе, как с позиции превосходства, а в случаях, когда чувство превосходства оказывается под угрозой, ассоциируем детскость с «варварством», чрезмерной и тем опасной близостью к природе. В этой оборонительной логике, кстати, строились все колониальные идеологии, включая наследство апартеида: запрет на желание обнять Африку питался страхом ответного объятия. Героиня романа «Железный век» (1990), пожилая дама, в прошлом профессор классической филологии, видит детство в черно-белых тонах, — по сути, это образ современности, сгущенный до трагического гротеска:

Кого я боюсь, так это сбивающихся в стаи подростков, хищных, как акулы, с угрюмыми лицами, на которые уже упала тень тюремной решетки. Дети, презревшие детство — время, когда еще возможно удивление, когда растет душа. Их души, эти органы удивления, недоразвиты, но уже окаменели. А по другую сторону разделительной линии — их белые сверстники с такими же недоразвитыми душами все плотнее и плотнее заворачиваются в свои коконы, чтобы там уснуть. Бассейн, верховая езда, уроки танцев, крикет на лужайке; всю жизнь они проведут внутри обнесенных стенами садов, под охраной бульдогов; дети рая, светловолосые, невинные, излучающие нездешнее сияние, нежные, словно путти. Место их пребывания — лимб нерожденных; они невинны невинностью пчелиных деток, белых, упитанных, купающихся в меду, вбирающих его сладость сквозь нежную кожу. Их души погружены в дрему, преисполнены блаженства, не имеют ничего общего с жизнью⁴.

В резко пародийном освещении здесь представлена романтическая утопия, от которой явно нет толка в переживаемый нами «железный век». Впрочем, не могут служить опорой и знание, зрелость, ученость, опыт. Собственная душа слишком взрослой уже рассказчицы просыпается постепенно от инфантильного сна к возможности видеть надвое — сквозь призму иронической неопределенности. К этому же подвигает своего читателя Кутзее. На каждом шагу мы подозреваем (только подозреваем, не зная с точностью), что автор имеет в виду не то, что написано черным по белому, но что именно? Ирония выявляет внутреннюю проблематичность, уязвимость *любого* убеждения, но ни одному не отказано в частичном сочувствии. Такая уклончивость авторской позиции не может не смущать, поскольку похожа на безответственность. Но не может она и не вдохновлять, поскольку предполагает принятие на себя этической ответственности «каждым первым» человеком/читателем.

Авторская позиция, по мысли Эльмгрен, близка здесь к философской позиции Джорджио Агамбена, для которого детство — это жизнь, совпадающая с чистой потенциальностью, бесконечность обновления без предзаданной цели. Младенчество, *infantia* — не просто пребывание до или без языка, это ощущение любого акта речи как усилия нового начала. Воспитание с этой точки зрения — процесс пробуждения детскости как «опыта возможного» в уже взрослом человеке.

Эльмгрен усматривает близость мысли Кутзее и к концепции «натальности», развиваемой Ханной Арендт: «“Чудо” заключается в том, что вообще рождаются люди и с ними новое начало, которое они способны проводить в жизнь благодаря своей рожденности»⁵. Не факт нашей смертности, а факт рожденности, воплощенности в каждом человеке *начала* сообщает нам, согласно Арендт, решимость «любить мир настолько, чтобы принять за него ответственность и тем самым предотвратить его гибель, неизбежную без вхождения в жизнь нового и молодого» (цит. по с. 118).

4 Кутзее Дж.М. Железный век / Пер. М. Соболева. СПб.: Амфора, 2005. С. 3.

5 Арендт Х. *Vita activa, или О деятельной жизни* / Пер. В.В. Библихина. СПб.: Алетейя, 2000. С. 328.

Бремя такой любви особенно знакомо учителям, а в прозе Кутзее, который сам много лет преподавал в школе и университете, такие персонажи нередки (самые яркие примеры — Дэвид Лури из романа «Бесчестье» (1999) и миссис Каррен из «Железного века»). Какому педагогу не знакомо обескураживающее переживание фрустрации от кажущейся или слишком даже реальной глухоты, невосприимчивости, а то и откровенного сопротивления обучаемых? Все это, считает Кутзее, важно признать законным и даже драгоценным компонентом полноценного образования, которое, собственно, только тогда и начинается, когда «учителю сопротивляются и за ним следуют, сопротивляются и следуют, превосходят и оставляют в прошлом» (цит. по с. 119). Здесь Эльмгрен вновь усматривает созвучие с мыслями Агамбена об обучении как бесконечном колебании между удивлением и достижением ясности, между открытием/обретением и утратой. Воспитание литературой, познавательный опыт читателя предполагают такое же челночное движение без цели заранее определенной — постепенное освоение принципиальной открытости художественной формы, как и форм жизни вообще. Литература с этой точки зрения — это возможность писать и читать из позиции детства, т.е. не в поисках объяснений-ответов, а в порядке любопытства к неизживаемым парадоксам жизни.

В главе «У врат» романа «Элизабет Костелло», с которой мы начали, героиня, взяв паузу для размышления, затем говорит: «Дети еще не позвали меня, но... я готова»⁶. Детство, как и литературное творчество, в интерпретации Шарлотты Эльмгрен — призыв из будущего. Он содержит в себе побуждение к свободе (от иерархий и оппозиций, которые дисциплинируют, но старят мысль) и одновременно к ответственности, даже двойной: перед тем, чего еще нет, что пребывает в становлении, и перед тем, что есть, что создает — или не создает — условия для появления нового.

6 Кутзее Дж.М. Элизабет Костелло. С. 281.